

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

\* \* \*

*Давайте после драки  
помашем кулаками...*

Б. Слуцкий

1 апреля 2017 года умер Евгений Евтушенко, омрачив своим единомышленникам и поклонникам праздник смеха, который они вот уже много лет празднуют именно в этот день. Ну, бывают такие огорчительные совпадения, что делать...

После этого целые две недели, вплоть до панихиды и похорон, назначенных на 14 апреля, вся страна прощалась с самым знаменитым поэтом всех времён и народов. И если бы выставить гроб с телом покойного не в ЦДЛ, а в Колонном зале Дома Союзов, где народ прощался с Лениным и Сталиным, то всё было бы похоже на те исторические панихиды, одна из которых так ярко была описана пером ныне справедливо забытой поэтессы Веры Инбер: *“И потекли людские толпы, // неся знамена впереди, // чтобы взглянуть на профиль жёлтый, // на красный орден на груди”*.

По завещанию покойного его похоронили на кладбище в Переделкино рядом с могилой Пастернака. Но, как пишет “Комсомолка”, протоиерей Владимир Вигилянский, друг Евгения Александровича, посетовал, что *“волю жены было выполнить непросто, – вроде нашли участок, недалеко от Пастернака, смотрим, а там старые большевики похоронены. Нам показалось не совсем уместным хоронить рядом и Евгения Евтушенко. И тут как Божий промысел – видим место подходящее”*.

На мой же взгляд, лежать Евгению Александровичу рядом со старыми большевиками вполне уместно. Он их всех боготворил, оплакивал Бухарина (*“крестьянский заступник, // одно из октябрьских светил”*), мечтал о памятнике *“невинно убиенному сталинскими палачами Ионе Якиру”*, стиравшему с лица земли донские станицы во время рассказывания, преклонялся перед вдовами расстрелянных старых большевиков (*“старухи были знамениты тем, // что их любили те, // кто знамениты. // Накладывал на бренность птичьих тел // причастности возвышенную тень // невидимый масонский знак элиты”*), мечтал, подобно Булату Окуджаве, о времени, когда *“продолжится революция и продолжится наш комиссарский род”*; да и сам искренне клялся: *“погибну смертью храбрых за марксизм”*. Так что самое место ему было лечь рядом со старыми большевиками. А если бы у нас продолжилась традиция

---

Продолжение. Начало см. в №11, 12 за 2019 г. и в №1–5, 7–10 за 2020 г.

захоронения праха в Кремлёвской стене, то он вполне мог бы претендовать и на такое почётное место.

Многие его стихи пылают таким пафосом и таким страстным революционным косноязычием, как будто они написаны в эпоху гражданской войны и военного коммунизма, как будто он перевоплотился в Демьяна Бедного, в Александра Безыменского, в Иосифа Уткина, Михаила Светлова и прочих “пролетарских поэтов”, вместе взятых:

*И от нас ни умельцы ловчить или врать,  
Ни предателей всех лицемерие  
Не добились неверья в Советскую власть,  
Не добились в Коммуну неверия!  
И Коммуну, на сделки ни с кем не идя,  
Мы добудем своими руками.  
Пусть же в нас не умрёт:  
“Никогда, никогда  
Коммунары не будут рабами”.*

(1967)

Думаю, что такие клятвенные призывы были бы по душе Розалии Землячке-Залкинд, прах которой покоится в Кремлёвской стене в окружении других старых большевиков и большевичек. В любом случае, у нас в России таких похорон давно не было.

В течение двух недель – с 1-го по 14 апреля – все СМИ, электронные и бумажные, прощались с поэтом, не скупясь на комплименты.

“Гений Евтушенко – явление нескольких эпох... Человек с большой буквы, любящий сын своей родины” (из телепрограммы министра культуры РФ В. Мединского. “Общеписательская Литературная газета” № 4, 2017). “Последний великий русский поэт” (“Комсомольская правда” 12.04.2017). “Он – второе правительство” (“Новая газета” 12.04.2017). “К нему не зарастёт народная тропа”, “Пушкин – наше всё. Евтушенко – наш весь”, “Творец с хрустальной душой” (“Московский комсомолец” 12.04.2017).

“Когда Евгений Евтушенко обратил своё перо против влиятельных сил советского антисемитизма и неосталинизма, он рисковал жизнью своей семьи” (Стивен Коен. “Общество” 11.04.2017) и т. д.

На состоявшейся гражданской панихиде в ЦДЛ были зачитаны телеграммы от президента, от премьер-министра, от Олега Табакова, от Александра Ширвиндта. Над телом усопшего выступили два крупных чиновника – глава федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Сеславинский и бывший премьер-министр ельцинской эпохи Степашин, вслед за которыми к микрофону потянулись и литераторы с артистами. Жаль, что Евтушенко не слышал их.

Е. Сидоров (критик): “Его смерть – конец послесталинской литературы в стране. Страна на время охрипла, лишившись его голоса”. Е. Герасимов (актёр): “Он для меня после Пушкина”. Мухтар Шаханов (Казахстан): “Евтушенко не только великий поэт России, но и великий мыслитель всего земного шара”. В. Смехов (актёр): “Ты – параллельная Россия”, “Если бы Евтушенко написал один “Бабий Яр”, достаточно было, чтобы причислить его к классикам”. И. Волгин (телешоумен): “Не было бы Евтушенко – это была бы другая страна”. Е. Попов (прозаик): “Прощаемся с великим поэтом. Последний из великой пятёрки “шестидесятников”, “Ушёл океан”. М. Розовский (режиссёр): “Я всё время читаю “Наследников Сталина”. С. Никитин (бард): “Он не выносил, когда видел, что кого-то чествуют больше него”. В. Вишневский (стихотворец): “Никто в XX веке не сделал для поэзии столько, сколько сделал он”. В. Яков (бывший главный редактор “Новых известий”): “Он уходит недооценённым, недопонятым, недолюбленным Россией”.

На фоне этих эмоциональных, высокопарных, искренних, а порой даже комических оценок чиновников, функционеров, актёров и журналистов наиболее глубоким был некролог Александра Проханова (газета “Завтра” 12.04.2017). Приведу из него несколько отрывков. “На протяжении всей своей писательской деятельности он всё время находился в круге света, среди прожекторов, аплодисментов, обожателей, в литературных и политических

схватках, поездках, путешествиях. Был кумиром и в Советском Союзе, и на Западе.

Он был абсолютно советским поэтом, повторяя все акценты, все синусоиды советской идеологии разных периодов. Мальчиком, зелёным юношей он писал хвалебные стихи Сталину. Затем его подъём, его всплеск был связан с хрущёвской “оттепелью”, когда расцвела полная гроздь талантливых, ярких молодых поэтов, которые заявили о себе, начав воспевать ленинский период. Евтушенко тоже был ленинцем, он был среди тех, кто воспевал “комиссаров в пыльных шлемах”, Кремль его обожал и посылал во все нужные для себя точки мира. Он был неофициальным послом Кремля на Западе. Он был в авангарде разрушения всего советского литературно-идеологического наследия. Но потом, когда, казалось бы, он и близкие ему силы и люди победили, когда на дворе торжествовали “демократы”, он просто уехал из страны, ушёл, исчез. Он уехал в американскую глушь, в Огайо, в абсолютную провинцию. В этом – загадка Евтушенко. Каждый может по-своему отгадывать её”.

Восторгаюсь великодушием Александра, оставшегося верным латинской поговорке: “О мёртвых или хорошо, или ничего” (aut bene, aut nichil), промолчавшего о том, что именно Евгений Евтушенко 23 августа 1991 года после захвата им и его соратниками власти в Союзе писателей СССР на Поварской заявил, что надо “обсудить вопрос о подстрекательской роли газеты “День”, чьё слово, как мы предполагали, – и это к сожалению оправдалось, – могло превратиться в антинародное действие... Бондарев, Распутин, Проханов, подписавшие “Слово к народу”, должны подать в отставку... Мы считаем, что они не имеют нравственного права быть в руководстве Союза” (“Литературная газета” № 34, 24.08.91).

Вот так в августе 1991-го Е. Е. возглавил с группой своих соратников (Черниченко, Адамович, Нуйкин, Приставкин, Оскоцкий, Карякин, Шатров) переворот в Союзе писателей, где эта либеральная хунта вынесла постановление “Расценить публикацию “Слова к народу”, подписанную Ю. Бондаревым, В. Распутиным, А. Прохановым, как идейное обеспечение антигосударственного заговора и потребовать подать в отставку с постов секретарей правления СП СССР и СП РСФСР. Расценить идейную направленность газет “День”, “Литературная Россия”, “Московский литератор” и журналов “Наш современник” и “Молодая гвардия” как проповедь национальной розни, как вольный или невольный призыв к антидемократическим действиям”.

Вёл секретариат, принявший это постановление, не кто-либо, а самый знаменитый поэт Советского Союза. Сколько воды утекло с тех пор! 40 лет прошло, и Евтушенко уже нет в живых, и Распутина уже нет с нами. А зачем я всё это вспоминаю, если о мёртвых – “aut bene, aut nichil”? Да, наверное, потому, что посмертная жизнь каждого значительного писателя – дело неизбежное, она продолжается до сих пор у Пушкина, у Достоевского, у Булгакова, у Есенина... Надо, чтобы историки будущих времён понимали картину нашей жизни не по клеветническим наветам борзописцев из “5-й колонны”, а во всей её сложности и широте, и чтобы они оценили великодушие Проханова, “забывшего” о требовании Евтушенко закрыть его детище – газету “День” – и так объяснившего причину отъезда Е. Е. в Америку:

“Мне кажется, что он был страшно разочарован тем, что вместо блистательного нового государства – носителя новой великой культуры, – после 1991 года здесь в России наступила тьма, затмение, бескультурие. И возобладали не идеальная революция, не герои, не сподвижники, а возобладали коммерсант, киллер, банкир, человек денег, приземлённая, абсолютно бездуховная тварь, с которой он не мог примириться”.

А мне кажется, что Александр Андреевич идеализирует внутренний мир Евгения Александровича, который в исторические минуты 1990-1991 годов, на мой взгляд, не мог не видеть, куда катится его родина. Он ведь каждый год приезжал в Россию для выступлений в Политехническом музее, на поэтические встречи с читателями на Байкале, путешествовал по сибирским рекам, останавливался в родном Переделкино, где обустраивал свой музей на даче, которую отсудил у Литфонда (приватизировал), раздавал многочисленные интервью телевидению, радио, газетам, где и стихи постоянно печатал, заезжал на станцию Зима, снимал по своим сценариям кинофильмы – “Детский сад”, “Похороны Сталина”... Уж за это время мог бы такой талантливый человек рассмотреть, как вымирает его народ и как разваливается страна.

А во-вторых... Во-вторых, дело обстоит сложнее и требует тщательных раздумий о том, что с ним произошло, с ним, всю жизнь клявшимся в любви к России, коммунизму и советской власти. Как он сам сказал в юности: "Со мною вот что происходит..." — это надо понять.

Я не завидую будущим несчастным исследователям "эпохи Евтушенко", которые будут копать в горах его многообразного творчества, словно бомжи на свалке современных отходов уходящей в прошлое цивилизации, на свалке, где можно найти и вполне ещё приличные штотки, и устаревшую, но ещё способную послужить людям мебель, где порой попадаются телевизоры, ковры, книги и даже продукты, ещё годные к употреблению. Столько на этих свалках ещё полезных, ещё годных для общества потребления вещей, столько оригинальных рифм и вполне пригодных для жизни афоризмов, обломков быта, а может быть, и призраков бытия, плавающих в испарениях этих мировых монбланов из соблазнительного мусора. Думал о мировой славе, а сделал неоченимый вклад в мировую свалку, где все мы, наверное, со временем окажемся.

Но вспоминать его и думать о пролетевшей жизни и о посмертной судьбе необходимо хотя бы потому, чтобы новое поколение мыслителей, историков и биографов знало, что допустимо в литературе, а чего нельзя делать, понимало, как уживаются с литературными судьбами понятия "честь", "совесть", "память" и что такое посмертная жизнь поэта.

\* \* \*

Через несколько дней после трёхдневной августовской 1991 года провокации в Союз писателей России, что на Комсомольском, 13, пришла толпа — некий 267-й "батальон нацгвардии". На второй этаж поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается как организация, "идеологически обеспечившая путч". Я разорвал эту бумагу и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Но именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо мэру Москвы Гавриилу Попову с требованием закрыть как оплот реакции "бондаревско-прохановский" Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем кабинете Георгия Маркова на улице Воровского. Незадолго до этого он и его соратники — Черниченко, Адамович, Нуйкин, Савельев — выгнали старых секретарей из кабинетов (якобы за связь с ГКЧП), плюхнулись в их тёплые кресла и вцепились в правительственные телефоны-вертушки. Памятуя о наших некогда неплохих отношениях и не до конца веря, что поэт Евтушенко мог написать Гавриилу Попову такой донос, я вскочил в машину и помчался с Комсомольского проспекта на Воровского. Евгений, сидевший в кабинете один, поднял на меня свои холодные глаза:

— Женья! Как бы мы ни враждовали, но так опускаться! Ведь в нашем Союзе Распутин, Белов, Юрий Кузнецов, которых ты не можешь не ценить. Зачем вы возрождаете чекистские нравы? Одумайтесь!

Он с каменным лицом и ледяным взором поджал и без того тонкие губы:

— Стасик! Хочу сказать тебе откровенно: не ошибись, сделай правильный выбор, иначе история сомнёт тебя. Не становись поперёк дороги. Ты что, не понимаешь — время переломилось. Извини, больше разговаривать не могу. Мне надо ехать...

Мы вышли во двор усадьбы Ростовых, где у дверей Союза стоял его чёрный "мерседес". Я шёл за ним, ещё не потеряв последней глупой надежды в чём-то переубедить его... Но он уже открывал сверкающую дверцу лимузина, и тут, как на грех, когда он уже садился в кресло, натянулась пола его пиджака и одна из роскошных золотистых пуговиц отлетела и покатила под машину. Раздосадованный поэт, чертыхаясь, присел на корточки и стал искать пуговицу, чуть ли не ползая по асфальту. При виде его согнувшейся озабоченной фигуры я вдруг понял, что зря приехал к нему и зря начал этот пустой разговор. Пуговицы он так и не нашёл — терпения не хватило, и, наверное, моё присутствие раздражало его, — выпрямился, отряхнул брюки на коленях, сел с несколько перекошенным от такой неожиданной неудачи лицом за руль, молча закрыл стекло, включил зажигание, нажал на газ, и "мерседес"

с мягким шумом рванулся, огибая согбенную статую Льва Толстого – молчаливого свидетеля нашего короткого разговора. Я тупо и растерянно взглянул на асфальт, где стояла машина, увидел золотистую пуговицу, пнул её ногой так, что она отлетела в траву, и вспомнил строки из своего пророческого стихотворенья, написанного в 1987 году:

*Ах, Фёдор Михалыч, Ты видишь, как бесы  
Уже оседлали свои “мерседесы”,  
Чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой  
Рвануться за славою и за валютой...*

Я бы не стал так подробно вспоминать о прошлых событиях, если бы не лживые воспоминания Евгения Евтушенко, который таким образом изобразил в “Комсомолке” (3.8.2000) мой вышеописанный приезд к нему:

*“После неудавшегося путча ко мне в кабинет секретаря Союза писателей пришёл Станислав Куняев... У него тряслись руки от страха, и он почти шептал: “Женя, ты же помнишь, мы с тобой дружили”. Это был самый отвратительный момент в моей жизни, когда я увидел человека, который боится...”*

Ах, ты сочинитель!.. Да я на глазах десятков людей разорвал бумажку префекта, спровоцированную твоим письмом к Гавриилу Попову, и при этом руки у меня не тряслись. А в ночь с 19-го на 20 августа 1991 года меня разбудил телефонный звонок. Звонила корреспондентка “Независимой газеты” Юлия Горячева. Она спросила о моём отношении к ГКЧП. Я ответил, что понимаю и поддерживаю людей, сопротивляющихся горбачёвщине, что согласен на все ограничения свободы слова ради сохранения государства. С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции “Свобода”, и я ответил им теми же словами. Через три месяца в интервью для “Независимой газеты” я демонстративно заявил следующее: “Если бы мне предложили подписать “Слово к народу”, считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я, не сомневаясь, подписал бы его”.

К этому времени наши пути в литературе и жизни, начавшиеся весьма дружелюбно, постепенно развели нас по разные стороны баррикад. Да так и должно было случиться после всяческих диссидентских демонстраций и процессов, после дискуссии “Классика и мы”, после моего письма в ЦК КПСС по поводу альманаха “Метрополь”, после его стихов о “русских коалах”, после моих статей о культе Высоцкого и о поэзии Окуджавы, после его письма в августе 1991 года о необходимости закрытия Союза писателей России.

Начиная с конца семидесятых, он замечал каждый мой рискованный шаг. Впрочем, он не только стремился уязвить меня лично. Его цель была в том, чтобы, пользуясь своей бешеной популярностью, оттеснить русское патриотическое сопротивление, которое стало поперёк дороги силам, постепенно начавшим разрушение страны. Вот всего лишь несколько фраз из его статей и выступлений 80-х и 90-х годов прошлого века.

*“Присуждение Государственной премии РСФСР им. М. Горького С. Куняеву как критику-публицисту у меня вызвало чувство возмущённого недоумения. Признаться, я не верил, что ему могут присудить эту премию, которая носит имя человека, плакавшего, когда он слушал чужие стихи...”*. “Как русский поэт, русский читатель я возражаю против решения о присуждении С. Куняеву Государственной премии РСФСР” (из “Литературной газеты” 13.01.1988).

*“Шовинистическое оплёвывание таких дорогих для нас поэтов, как Багрицкий, Светлов, а заодно издевательство над целой плеядой погибших на войне поэтов...”*. “Мне не нравится – и очень серьёзно не нравится его точка зрения на национальный вопрос” (из газеты “Советская культура” 7.11.1987).

Из выступления Е. Евтушенко на дискуссии “Классика и мы” (21.12.1977):

*“В выступлении Куняева была какая-то, я бы сказал, ретроспективная склонность, ну, ей-богу, ну, опять было неприятно. Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты – и Мандельштам, и Багрицкий. Но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого! И Станислав Юрьевич сделал здесь уж совсем нехороший жест, когда он стал Багрицкого бить Смеляковым. <...> Зачем же, используя какие-то отдельные строчки Багрицкого, <...> зачем его*

называть как человеконенавистника... Русская классика гневными устами Короленко высказала своё отвращение к насаждавшемуся царской бюрократией антисемитизму! И это осталось навсегда наследием сегодняшних настоящих русских интеллигентов”.

А вот комментарий Е. Евтушенко к моему стихотворению “Очень давнее воспоминание” из составленной им поэтической антологии “Строфы века” (Минск-Москва, 1995).

“Станислав Куняев, р. 1932 г., Калуга. Окончил филфак МГУ в 1957-м. Затем работал журналистом в Тайшете. Первая книга “Звено” – в 1962 г. Ученик Слуцкого, некоторое время считался либеральным поэтом-“шестидесятником”. Ничего не скажешь, приводимое в антологии стихотворение написано здорово. Но есть мнение, что в нём не столько осуждение антинародного террора, сколько упоение силой власти. Однако и в литературе всё происходит так же, как на площадках молодняка. На месте молочных зубов либералов иногда обнаруживаются опасные резцы национализма. А от них и до кльков недалеко. Национализм чаще всего вырастает на личной неудовлетворённости. Запомнились иронические строки Куняева: “Я один, как призрак коммунизма, на стокгольмской площади брожу”. Но прославился он строкой, которая ему не принадлежала: “Добро должно быть с кулаками”. Эту строку дал нам, студентам, для упражнения Светлов. Может быть, слава, полученная благодаря чужой строке, начала разъедать самолюбие Куняева. Он написал письмо в ЦК, жалуясь на засилье евреев и прочих нацменьшинств в издательствах, приписал поклонникам Высоцкого, что они якобы растоптали его могилу, выступил против песен Окуджавы, поддержал ГКЧП. Всё это, к сожалению, не способствовало гармоническому развитию того дарования, которое, несомненно, было заложено в нём с ранней юности”.

И это лишь малая часть выпадов, публичных доносов и политических обвинений, которыми удостоил меня Евгений Александрович. Даже странно, что при всей своей всемирной славе и гордыне он потратил на споры со мной столько сил и времени.

Он не мог или не хотел внимательно вчитаться в страницы, мной написанные, но “проработывал” их, словно какой-нибудь сотрудник “теневое” ЦК КПСС, упрощая мои мысли до идиотизма, отделяясь примитивными идеологическими штампами вроде “антисемитизма”, “национализма”, “зависти” и т. д. Он так и не увидел, что в статье, посвящённой судьбе Высоцкого, я не столько думал о его творчестве, сколько о слепом фанатичном идолопоклонстве публики перед своим кумиром. Мало того, Евтушенко не понял всей серьёзности и значительности мировоззренческого спора, который разгорелся в Большом зале Центрального Дома литераторов 21 декабря 1977 года на дискуссии “Классика и мы”, где он и его друзья Борщаговский, Эфрос, Е. Сидоров проиграли это сражение, условно говоря, “националистам” с “кльками” и “резцами”. Ну, это естественно: нельзя же всю жизнь ходить с “молочными зубами”!

А что касается стихотворенья о “добре с кулаками”, то Евтушенко, как потом я узнал, тоже написал стихотворение на заданную Светловым тему и напечатал его в “Дне поэзии” в 1961 году почти одновременно с моим, вошедшим в сборник “Землепроходцы” (1960) и ставшим сверхпопулярным. Он, обвинив меня за использование “чужой строчки”, использовал её тоже, но умолчал об этом. Не хотелось ему сознаться в своей неудаче. А почему его стихотворение забылось, я до сих пор не понимаю.

Однажды мы с женой сидели у телевизора и смотрели передачу профессора Вяземского “Умники и умницы”. Речь среди его учениц зашла о добре, и кто-то вспомнил мою строчку.

– А кто всё-таки автор этой строки? – спросил профессор.

Одна из девушек подняла руку:

– Я думаю, что это был Ленин, – ответила девушка, и мы с женой расхохотались.

А однажды я наблюдал по ТВ войну в Донбассе: небритый, загорелый ополченец с автоматом быстрым шагом спешил на боевую позицию. За ним семенил тележурналист, который, протягивая к ополченцу микрофон, выкрикивал:

– Скажите, почему и за что вы здесь воюете?..

Ополченец, видимо, чтобы отвязаться от журналиста, резко повернул к нему голову и выкрикнул:

*Добро должно быть с кулаками,  
добро суровым быть должно,  
чтобы летела шерсть клоками  
со всех, кто лезет на добро.*

И тут я понял справедливость изречения: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”. С тех пор я перестал сомневаться в достоинствах своего стихотворения. Если его читают вслух люди, идущие в бой, — значит, оно содержит в себе энергию борьбы и победы.

\* \* \*

Почти во всех откликах на смерть Евтушенко его фанаты утверждают, что чёрная зависть съедала души евтушенковских идейных противников, современников, бесталанных конкурентов из всех жанров литературы и эстрады. Что они всю жизнь завидовали его сумасшедшей славе, его жизненной энергии, его умению делать дела, его связям с сильными мира сего. Наверное, в этих утверждениях есть доля правды. Но тогда почему к Е. Е. с иронией, а порой с негодованием и даже брезгливостью относились многие люди культуры из отнюдь не официального или патриотического лагеря, а, скорей, из мира ярких либералов, из третьей эмиграции, из прослойки настоящих антисоветчиков?

Остроумнее всех написал о Евтушенко философ и бывший лётчик-фронтвик Александр Зиновьев в книге “Зияющие высоты”. Евтушенко у Зиновьева выведен, правда, под какой-то несерьёзной кличкой “Распашонка”, в то время как Галич именуется Певцом, Солженицын — Правдецом, Эрнст Неизвестный — Учителем, Бобков — Сотрудником, а Зимянин — Заведующим; Андропов проходит под кликухой “Сам”. Все они живут в государстве Ибании и говорят на ибанском языке.

“Что Вы скажете о поэзии Певца, — спросил Журналист у Распашонки. — Поэзия непереводаима, — сказал Распашонка. — Меня, например, невозможно перевести даже на ибанский язык. — А на каком же языке Вы говорите, — удивился Журналист. — Каждый крупный поэт имеет свой голос и свой язык. Попридержи свой язык, — сказал Начальник. — А не то останешься без голоса. Собирайся-ка в Америку. Вот тебе задание: покажешь всему миру, что и у нас в Ибанске полная свобода творчества. Только с тряпками поосторожнее. Знай меру. А то сигналы поступали. Не больше десяти шуб, понял?”

Приехав в Америку, Распашонка прочитал стихи:

*Не боюсь никого,  
Ни царей, ни богов.  
Я боюсь одного —  
Боюсь острых углов.  
Где бы я ни шагал,  
Где бы ни выступал,  
Во весь голос взывал:  
— Обожаю овал!*

— Как он смел, кричали американцы! И как талантлив! Ах, уж эти ибанцы! Они вечно что-нибудь выдадут такое! Мы так уже не можем. Мы зажрались. “Как видите, я здесь, — сказал Распашонка журналистам. — А я, как известно, самый интеллектуальный интеллектуал Ибанска. Когда я собрался ехать сюда, мой друг Правдец сказал мне: “Пропой, друг Распашонка, им всю правду про нас, а то у них превратное представление”.

— А ведь в самом деле смел, — сказал Учитель. — Цари и боги — это вам не какие-то пустячки вроде Органов. Тут ба-а-а-льшее мужество нужно.

Сослуживец, завидовавший мировой славе Распашонки, сказал, что это вшивое стихотворение надо исправить так:

*Где бы я ни стучал,  
Чей бы зад ни лобзал,  
С умилением мычал:  
— Обожаю овал!*

Вернувшись из Америки, Распашонка по просьбе Сотрудника написал обстоятельную докладную записку о творчестве Певца. Для Самого, сказал Сотрудник. Так что будь объективен. И Распашонка написал, что, с точки зрения современной поэзии, Певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения, и он, Распашонка, верит в его искренность и ручается за него. . . “Граждан у нас и без всяких там певцов навалом, – сказал Заместитель номер один, – а посредственные поэты нам не нужны. Посадить!” Либерально настроенный Заведующий предложил более гуманную меру: выгнать его в шею! Зачем нам держать плохих поэтов? У нас хороших сколько угодно!

– И я смог бы написать что-нибудь такое, за что меня взяли бы за шиворот, – говорит Распашонка. – А смысл какой? Сейчас меня читают миллионы. И я так или иначе влияю на умы. В особенности – на молодёжь. . . А сделай я что-нибудь политически скандальное, меня начисто выметут из ибанской истории. Двадцать лет труда пойдёт прахом. – Конечно, – сказал Учитель. – А надолго ли ты собираешься застрять в ибанской истории? В официальной? А стоит ли официальная ибанская история того, чтобы в ней застревать? А расчёт на место в истории оборачивается, в конечном счёте, тряпками, дачами, мелким тщеславием, упоминанием в газете, стишком в журнальчике, сидением в президиуме. – Ты на что намекаешь, – возмутился Распашонка. – Погоди, – сказал Учитель. – Учти! Ибанская история капризна. Она сейчас нуждается в видимости подлинности. Пройдёт немного времени, и тебя из неё выкинут, а Правдеча впишут обратно. Торопись, тебя могут обойти!

Распашонка побледнел и побежал писать пасквиль на ибанскую действительность. Пасквиль получился острый, и его с радостью напечатали в Газете. . . Молодому поэту Распашонке, любимцу молодёжи и органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу!”

Об этой же способности Е. Е. к выживанию в любых обстоятельствах беспощадно написала в своих мемуарах Галина Вишневская:

“Быстро научился он угождать на любой вкус, держать нос по ветру и, как никто, всегда хорошо чуял, когда нужно согнуться до земли, а когда можно и выпрямиться. . . Так и шарахало его с тех пор из стороны в сторону – от “Бабьего Яра” до “Братской ГЭС” или, того хлеще, “КаМАЗа”, который без отвращения читать невозможно, – так разит подхалимажем. . .”

Однажды она сама прямо прорычала ему в лицо:

“Вы подарили Славе (Растроповичу. – **Ст. К.**) несколько книжек Ваших стихов. Я их прочла, и знаете, что меня потрясло до глубины души? Ваше гражданское перерождение, Ваша неискренность, если не сказать – враньё, Ваше бессовестное отношение к своему народу”.

Из воспоминаний Сергея Довлатова:

“Бродский перенёс тяжёлую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале. Лежит Иосиф – бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты.

И вот я произнёс что-то совсем неуместное:

– Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов. . .

Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал:

– Евтушенко выступил против колхозов. . .

Бродский еле слышно ответил:

– Если он против, я – за. . .”

Из дневника Юрия Нагибина, который писался не для публики, а для самого себя и был издан уже после смерти Нагибина в Москве в 1996 году:

“Евтушенко производит смутное и тягостное впечатление. Он, конечно, исключительно одарённый человек, к тому же небывало деловой и энергичный. Он широк, его на всё хватает, но при этом меня неизменно в его присутствии охватывает душный клаустрофобический ужас. Он занят только собой, но не душой своей, а своими делами, карьерой, успехом. Он патологически самоуверен, тщеславен, ненасытен в обжорстве славой. “Я!Я!Я!Я!..” – в ушах



звенит, сознание мутится, нет ни мироздания, ни Бога, ни природы, ни истории, ни всех замученных, ни смерти, ни любви, ни музыки, нет ничего – одна длинновязая, всё застывшая собой, горластая особь, отвергающая право других на самостоятельное существование. Он жуток и опасен, ибо ему не ведомо сознание греха. Для него существует лишь один критерий: полезно это ему или нет.”

Поэт Д. Голубков, из книги “Это было совсем не в Италии” (М., 2013): “Он не русский. Он американец. Грубая сентиментальность. Знает инстинкт толпы, зверино чувствует потребу времени. Журналист. Хватает на лету. Людьми по-настоящему не интересуется: никогда не дослушивает, не слушает – только смотрит – быстро, цепко, хватательно”.

Некогда ранее Евтушенко уехавший в Америку Г. П. Климов так отозвался о нём: “Сам Евтушенко – величина спорная и противная. И, что интересно, настолько противная, что его даже свои, даже евреи не любят и оплёвывают. Потому что он человек двуличный, настоящий хамелеон, который, угождая всем, угодить всем не может”.

И словно бы подтверждая эту мысль русского диссидента Г. Климова, язвительное перо Валентина Гафта начертало такую эпиграмму о знаменитом поэте:

*Он сегодня снова странен,  
Он почти киноартист  
И почти что англичанин,  
Наш советский скандалист.*

*Находившись не под банкой,  
Вовсе не сойдя с ума,  
Породнился с англичанкой  
Он со станции Зима.*

*Историческая веха —  
Смелый вроде бы опять,  
Будет жить, почти уехав,  
Политическая блядь...*

Прочитав эту эпиграмму, один из поклонников Евтушенко чрезвычайно огорчился и утешился только тогда, когда ему кто-то сказал, что Валентин Гафт не еврей, а немец.

Но беспощаднее всех к огорчению поклонников Евтушенко написал о его связях с Лубянкой покойный Владимир Войнович, один из самых значительных прозаиков либерального стана:

“Я думаю, когда-нибудь ещё будет написана его биография, а может, даже роман о нём (вроде “Мефисто” Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. “Талант на службе у невежды, // привык ты молча слушать ложь. // Ты раньше подавал надежды, // теперь одежды подаёшь”. Эти написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому. Известна его роль посланника “органов” к Бродскому и Аксёнову. Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведёт в КГБ. Уже в начале “перестройки”, приветствуя её, но всё ещё распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, обещал в “Огоньке” “набить морду” каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве”.

\* \* \*

На закате жизни Евгению Евтушенко пришлось пережить немало унижений не от патриотов, а, что обиднее всего, от своих по убеждениям и по мировоззрению “шестидесятников”, которые, в отличие от “многоликого” поэта, были “упёртыми” диссидентами.

Двадцать первого декабря 2000 года на юбилее “Независимой газеты” в Московском гостином дворе случилась история, о которой свидетель и участник происшедшего Марк Григорьевич Розовский написал в письме главному

редактору газеты: “Я хотел бы дать маленький комментарий к одному замечательному фотоснимку. На этом снимке изображён Глеб Павловский, показывающий яростную фигу Евгению Евтушенко. Ваш покорный слуга стоит рядом в качестве невольного свидетеля их разговора <...> считаю своим долгом донести до Вашего читателя подлинный смысл услышанного, и да простят меня оба участника полемики: придя домой после юбилея, я почувствовал потребность записать всю беседу по памяти, не откладывая в долгий ящик... Разговор начал Евтушенко, который взял за локоток проходившего мимо Павловского:

– Господин Павловский, хотел давно с Вами познакомиться и сказать в глаза всё, что о Вас думаю.

Павловский оторопел, но, узнав Евтушенко, благосклонно задержался в своём движении. Далее Женя с места в карьер дал Глебу по очкам, как сказали бы в нашей школе в далёкие послевоенные годы:

– Вы, как я слышал, даёте советы президенту. Что же Вы, вроде бы бывший диссидент, не отговорили его от этого гимна? Вы же вроде бы сами сидели, так должны были отговорить! Вы и себя тоже подставили! Вы понимаете, что Вы сделали!?

– Прекрасно понимаю, – сказал Павловский и чисто провокативно спросил: – А почему это Вас так волнует?

– Как почему? – зашёлся Евтушенко. – Да в России всего шесть поэтов, которые могли бы написать новый гимн! Новый! На новую музыку! И не было бы этого позора, который Вы устроили!

– Я ничего не устраивал, – сказал Павловский.

– Но отвечать будете Вы! Именно Вы будете отвечать!

– Пап, кто это? – спросила девушка, стоящая рядом с Павловским.

Тут я, признаться, расхохотался внутренне, но виду не подал. Однако не успел я посетовать, что молодёжь не знает великого русского поэта в лицо, как сам Евтушенко буквально выпалил:

– Я великий русский поэт!

– Как фамилия? – простодушно спросила девушка.

– Евтушенко! – не выдержав напряжения, подсказал я. – Это, девушка, Евгений Александрович Евтушенко!

К моему удивлению, это нашего поэта не смутило. Всю свою страсть гражданина он обрушил на самого знаменитого пиарщика России XX века:

– Да Вы знаете, что теперь будет?

– А что теперь будет? – Павловский посмотрел на Евтушенко поверх очков. – Я-то знаю как раз, что будет! – Наверное, он был прав. В отличие от поэта, который в России сейчас больше, чем пиарщик.

– Не знаете! – гневно воскликнул Евтушенко. – Так я Вам скажу! Многие не встанут, когда зазвучит этот гимн, и как Вы тогда будете спать? Спокойно? Нет! Вы не будете спать спокойно, потому что, когда арестуют первого человека, который не встанет при этом Вашем гимне, Вы не сможете спать спокойно!

Ответ был нагляден: всё кончилось интеллигентной фигой. В “Независимой газете” была опубликована фотография, как Павловский, стоя рядом с дочкой и Марком Розовским, сунёт в нос Евтушенке, стоящему с открытым ртом и выпученными глазами, как говорится, “фигу с маслом”, которую Е. Е. заслужил, оклеветав новый гимн за его изначальную великую музыку Александрова. Беда Евтушенко заключалась в том, что он сидел даже не на двух, а на четырёх стульях – советском, антисоветском, еврейском и русском, и, сообразуясь с обстоятельствами, всегда ловко и естественно пересаживался с одного стула на другой, за что “идейные” диссиденты вроде Иосифа Бродского презирали его не меньше, чем идейные патриоты. Но самым прискорбным для Е. Е. в этом трагикомическом конфликте является то, что неприятие и даже презрение к его особе исходило от землян еврейского происхождения, не купившихся ни на его “Бабий Яр”, ни на его экзальтированные зарифмованные проклятья в адрес “охотнорядцев”, “погромщиков” и прочих антисемитов. И все четыре стула, на которых он сидел, одновременно выскочили из-под его задницы. Но бывало и так, что в его адрес неслись такие оскорбления, которые мог выносить только этот “сверхчеловек”.

Помнится мне, что стихотворение “Наследники Сталина” вызвало возмущение не только “антисемитов” и “сталинистов”. Поэт Моисей Цейтлин (1905–

1995), опубликовавший при жизни лишь одну книжку в 1986 году, которую высоко оценил Вадим Кожинов за гражданское мужество, сразу же после появления в "Правде" "Наследников Сталина" ответил Евтушенке стихотворением, которое ни за что не могло быть опубликовано в то время:

Автору стихотворения "Наследники Сталина"

*Термидорьянец! Паскуда! Смазливый бабий угодник!  
Кого, импотент, ты порочишь блудливым своим языком?!  
Вождя, что создал эту землю, воздвиг этот мир, этот дом,  
Порочишь, щенок, последней следуя моде!  
Кого ты лягнуть вознамерился, жалкая мразь,  
И твякаешь ты на него, рифмоплёт желторото-слюнявый?  
Ведь он полубог, не чета вам, погрязшим в бесславье,  
Пигмеям, рабам, подлипалам, зарывшимся по уши в грязь!  
Он древних трагедий герой, им ныне и присно пребудет!  
Эхил и Шекспир! Резец флорентийца суровый!  
Канкан каннибальский у трупа уже ль не разбудит  
Презренье и гнев вашей грязной обжевшейся своре?  
(1962)*

Гнев Моисея Цетлина – это гнев "высшей пробы". Никакие "проклятия в рифму" по поводу антисемитов, в изобилии слетавшие с пера Евтушенко, никакое его демонстративное юдофильство не могли примирить автора "Бабьего Яра" с Моисеем Цетлиным, который громил его репутацию подобно ветхозаветным пророкам Израиля, избличавшим фарисеев и книжников.

Из статьи Владимира Максимова "Осторожно, Евтушенко!" (журнал "Континент"):

"Едва ли рыцарь простодушного доноса Фаддей Булгарин в XIX веке догадывался, что при известной гибкости мог бы, оставаясь агентом Третьего отделения, выглядеть в представлении современников и потомков мучеником Сенатской площади.

Другое дело Евтушенко. Он, к примеру, пишет и печатает стихотворение "Бабий Яр", а затем в качестве члена редколлегии журнала "Юность" поддерживает резолюцию об израильской "агрессии". Он посылает в адрес правительства широковегетательную телеграмму против оккупации Чехословакии, но вслед за этим делает приватное заявление в партбюро Московского отделения Союза писателей с осуждением своей первоначальной позиции.

Он громогласно защищает Солженицына и тут же бежит в верхи извиняться и каяться, и пишет ура-патриотическую поэму о стройке коммунизма – Камском автомобильном заводе, – где прозрачно намекает на того же Солженицына: "Поэта вне народа нет!"

И, представьте себе, это не мешает ему оставаться в глазах наших, да и не только наших, "интеллектуалов" представителем культурной оппозиции".

Андрей Тарковский о поэме Е. Е. "Под кожей статуи Свободы":

"Случайно прочёл... Какая бездарь! Оторопь берёт. Мещанский авангард... Жалкий какой-то Женя. Кокетка. В квартире у него все стены завешаны скверными картинами. Буржуй. И очень хочет, чтобы его любили. И Хрущёв, и Брежнев, и девушки..." (из книги "Евтушенко. Love story" М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2014).

Из "Записок" Л. К. Чуковской об Анне Ахматовой, которая произнесла следующий монолог:

"– Мне кажется, я разгадала загадку Вознесенского. Его бешеного успеха в Париже. Ведь не из-за стихов же! Французы стихов не любят, не то что иностранных – родных, французских. Там стихи печатаются в восьмистах экземплярах. Если успех – ещё восемьсот. И вдруг – триумф! Русских, непонятных... Я догадалась. Вознесенский, наверное, обьявил себя искателем новых форм в искусстве – ну, скажем, защитником абстракционистов, как Евтушенко – защитник угнетенных. Может быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники!

А меня их поэзия – или их эстрада? – как-то не занимает. Конечно, причину успеха интересно было бы исследовать. С социально-исторической точки. На Западе, говорит Анна Андреевна, не понимают по-русски, а стихов вообще не ценят. Пусть так! А в России понимают? По-русски? И ломаются на вечера Вознесенского и Евтушенко... В чём дело?" "Сейчас прочла Евтушенко в "Юности". Почему никто не видит, что это просто очень плохой Маяковский?"

Зато какие лестные отзывы он, которого принимал и Ричард Никсон, и Аллен Даллес, и Генри Киссинджер, и Роберт Кеннеди, получал из Белого дома в самое трудное для его родины время!

"Провожая меня, – вспоминает автор жэзэловской книги о поэте Илья Фаликов, – Евгений Александрович достал из почтового ящика почту. Пробежав глазами одно из писем, он протянул его мне. Письмо из Вашингтона от Билла Клинтона:

"Дорогой Евгений, благодарю Вас за книгу Ваших избранных стихов, которую мне передал губернатор Уолтерс. Я хочу поддержать историческое движение к демократии и свободному предпринимательству, происходящее сейчас в бывшем Советском Союзе. Я буду иметь в виду Ваши исполненные мысли слова, пытаюсь справиться с многочисленными вызовами, которые бросает мне быстро меняющаяся Россия. Искренне Ваш Билл Клинтон".

Это были годы, когда в голодные обмороки падали учителя и офицеры, шахтёры и лесорубы, вымирающие от безработицы и недоедания в северных посёлках. В моей родной Калуге, где мы встречались с Е. Е. на съёмках фильма о Циолковском, мои земляки с утра становились в очередь за говяжьими костями – всё-таки в пять раз дешевле мяса. А в его родной Зиме бродили подростки с остекленевшими от наркотиков глазами... И в это время он с гордостью показывал личное письмо Билла Клинтона, в котором этот "саксофонист" "имеет в виду мысли и слова" Евтушенко о том, как президенту Америки "справиться с многочисленными вызовами, которые бросает" ему "быстро меняющаяся Россия".

Вскоре после этого письма Клинтон приказал бомбить Белград. Справились...

Когда я во время одной из наших встреч с композитором Георгием Свиридовым вспомнил о том, что Шостакович написал музыку на стихи Евтушенко "Бабий Яр" и что, несмотря на сопротивление чиновников от идеологии, оратория была исполнена в Большом консерваторском зале, Свиридов нахмурился: "Значит, мировая антреприза, которой было суждено это исполнение, сильнее партийной идеологии, а мы с вами – слабее..."

Достоин внимания суждение о поэтах – "шестидесятниках" тоже "шестидесятника" Юрия Карабчиевского, составителя альманаха "Метрополь", конечно, антисоветчика, уехавшего в 1990 году в Израиль, через два года после этого вернувшегося в Россию, чтобы умереть и быть похороненным на родине, где на короткое время стала знаменитой его книга "Воскресение Маяковского", выдержавшая несколько переизданий.

В ней он пришёл к мысли, что воскресение Маяковского состоялось в советской действительности "сразу в трёх ипостасях. Три поэта – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился пародией на какие-то стороны его поэтической личности.

Рождественский – это внешние данные, рост и голос, укрупнённые черты лица, рубленые строчки стихов. Но при этом в глазах и в словах – туман, а в стихах – халтура, какую разве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.

Вознесенский – шумы и эффекты, комфорт и техника, и игрушечная заводная радость, и такая же злость.

Евтушенко – самый живой и одарённый, несущий всю главную тяжесть автопародии <...> ни обострённого чувства слова, ни чувства ритма, ни тем более сверхъестественной энергии Маяковского – этого им было не дано <...> они заимствовали одну важную способность: с такой последней смелостью орать верноподданнические клятвы, как будто за них – сейчас на эшафот, а не завтра в кассу".

Действительно, трудно себе представить Маяковского, преподающего какой-то курс по русской поэзии в какой-то Оклахоме.

Однако Маяковским, отчеканившим: “Землю, где воздух сладкий, как морс, // бросишь и мчишь, колеся, // но землю, с которою вместе мёрз, // вовек разлюбить нельзя”, – можно только гордиться.

\* \* \*

“Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов. Не случайно я был исключён из школы с безнадёжной характеристикой – с “волчьим паспортом”. Не случайно на меня всегда бросались, чуя мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, утробно ненавидящие меня, а заодно со мной и друг друга – болонки и сторожевые овчарки (профессиональные снобы и профессиональные “патриоты”)... “Шестидесятники” – это Маугли социалистических джунглей” (из книги “Волчий паспорт”. Е. Е. Воспоминания).

Однако в первой его книге “Разведчики грядущего” (1952), изданной ещё при жизни Сталина, есть стихи, написанные отнюдь не “молоком волчицы”, а скорее елеем, которым не пользовались даже такие официальные поэты, как Грибачёв или Лебедев-Кумач:

*Я знаю, вождю бесконечно близки  
мысли народа нашего.*

*Я верю, здесь расцветут цветы,  
сады наполнятся светом,  
ведь об этом мечтаем я и ты,  
значит, думает Сталин об этом!*

*Я знаю: грядущее видя вокруг,  
склоняется этой ночью  
самый мой лучший на свете друг  
в Кремле над столом рабочим.*

Прочитав стихи своего племянника, “родная сестра отца “тётя Ра” была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин убийца” (из книги “Волчий паспорт”).

Но, как признаётся Евтушенко, несмотря на откровения “тёти Ра”, “я всё же поверил тому, что врачи хотели отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи”. Написал, да еще прочитал вслух не кому-нибудь, а еврейской семье Барлас: “Никто из убийц не будет забыт, // они не уйдут, не ответивши. // Пусть Горький другими был убит, // убили, мне кажется, эти же”. Поскольку “дело врачей” было сенсационным, то эту сенсацию подхватил начинающий поэт, и эта ставка на сенсации стала главной чертой его природы. И когда “великий вождь всех времён и народов” почил в Бозе, наш отрок, почувствовавший, что лишается “покровителя”, обратился к великой тени другого основоположника. Сам он вспоминает об этом с искренней образностью, достойной восхищения: “Я принадлежу к тем “шестидесятиникам”, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина”. Но опять же обратиться к “призраку Ленина” ему помог спившийся антисоветчик:

“Небольшой сборничек цитат из Ленина, составленный Венедиктом Ерофеевым под названием “Моя Лениниана”, поверг меня в глубокую депрессию, сильно поколебал меня в моих прежних самых искренних убеждениях”.

Вот так-то: тётя Ра открыла ему глаза на Сталина, а Веничка – на Ленина. И пришлось Е. Е. излить свои чувства новому генсеку: “Меня глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича о том, что у нас не может быть мирного сосуществования в области идеологии... если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, пострадавших нашим народом, – мы совершим предательство”.

Представляете себе его состояние в конце 80-х, когда кумиры начали рушиться на глазах? Надо было сочинять стихи об очередном хозяине – Горбачёве: “Как он прорвался к власти сквозь ячейки всех кадровых сетей, их

кадр – не чей-то?! Его вело, всю совесть изгрызя: “Так дальше жить нельзя!”. Однако, к несчастью, коварный и сильный Ельцин начал побеждать не менее коварного, но более слабого своего конкурента, и Е. Е. понял, что без стихов о Ельцине ему не обойтись. Стихи сочинились как раз вовремя – 20 августа 1991 года на митинге у Белого Дома, где надо было подтвердить свою преданность новому хозяину. Довольный тем, что он успевает прочитать стишок в самый нужный исторический момент, он, однако, засомневался, разом вспомнив, как прокалялся со Сталиным, с Хрущёвым, с Лениным, с Фиделем, с Горбачёвым: “Опасно упоминать в стихах живых политиков, даже если в данный момент истории они вызывают восхищение... Не надо слова “Ельцин” в этом стихотворении... Откуда ты знаешь, каким он станет потом? Но я резко осадил себя. Стоп-стоп, Женя. Хватит отравлять себя подозрениями... Я не вычеркнул фамилии...”

Ну, как им не восхищаться?! Восславил Сталина – проклял его же благодаря Хрущёву, заклеил еврейских врачей-отравителей – искупил свой грех, написав “Бабий Яр”, восславил Ленина, – отказался от Ленина при помощи Венички Ерофеева, восславил Горбачёва – сдал Горбачёва после победы Ельцина...

И всё от сердца, всё от души. Язык не поворачивается упрекнуть. Я уж не говорю о том, как искренне он “исправлял” свои стихи, даже самые заветные, самые хрестоматийные. Написал стихотворение о том, как он любит Россию: “Дух её пятистенков, дух её кедрача, её Пушкина, Стеньку и её Ильича”. Но меняется идеологическая конъюнктура, и строка меняется вместе с ней: “Дух её пятистенков, дух её сосняков, её Пушкина, Стеньку и её стариков”, а из поэмы “Братская ГЭС” изымаются главы о Ленине и о партбилете.

А что происходило со знаменитым “Бабьим Яром”? В первом варианте поэт утверждал, что там фашисты убили только одних евреев. Но когда советские идеологи поправили его, мол, и людей других национальностей гитлеровцы расстреливали в Бабьем Яру тоже, Е. Е. всё поправил: “Здесь русские лежат, и украинцы с евреями лежат в одной земле”. Однако в эпоху горбачёвщины, когда переиздавался “Бабий Яр”, он, скорее всего под давлением еврейского лобби, выбросил из хрестоматийного шедевра “русских” и “украинцев”, и снова в “Бабьем Яру” остались одни евреи...

\* \* \*

Однако “еврейская тема”, начиная со стихотворения о врачах-отравителях (1952), стала важнейшей во всём творчестве Е. Е. до последних его дней и всегда выручала его в самых драматических обстоятельствах.

“Горжусь тем, что Всемирный конгресс русского еврейства, объединяющий 27 стран мира, выдвинул меня на Нобелевскую премию по литературе. Я тронут, потому что у истоков этой организации стояли люди, которые вышли из гитлеровских концлагерей. Это люди, о которых я писал” (из интервью одесскому журналисту Александру Левиту).

“В 1990 году по предложению Рождественского мы вместе написали письмо Горбачёву с просьбой, переходящей в требование, чтобы он раз и навсегда осудил антисемитизм. Уже теряющий своё положение лидер перестройки сделал это, но недостаточно громко, как-то боком” (из предисловия Е. Е. к стихам Роберта Рождественского).

Но откуда у него, девятнадцатилетнего юноши, в жилах которого, по его же собственным словам, текла какая угодно кровь, кроме еврейской, – русская, белорусская, украинская, немецкая, шведская, польская, латышская и т. д., – узнавшего лишь из газет в 1952 году о “врачах-отравителях” и заклеившего этих “отравителей” в искренних стихах, откуда у него с той поры и до конца жизни угнездилась в душе мания преследования? Почему всю взрослую жизнь он был убеждён, что живёт в мире, сплошь заселённом антисемитами, и его больное воображение то и дело рисовало ему ужасные картины антисемитских расправ над бедными сынами Израиля?..

*Я, сапогом отброшенный, бессилен,  
Напрасно я погромщиков молю*

*Под гогот: “Бей жидов, спасай Россию!” —  
Насилует лабазник мать мою.*

Вот уж поистине он был из числа тех талантливых демагогов, кто ради красного словца не жалел ни мать, ни отца. Может быть, эта вульгарно понятая антисемитская тема подпитывалась у него еврейскими женами — Галей Сокол и Джен Батлер? Может быть, дружеское еврейское семейство Барласов так пристыдило его за стихотворение о “врачах-отравителях”, что он запомнил этот урок на всю жизнь? А может быть, он сам, как человек со звериным инстинктом, уже в эти ранние годы осознал, что путь к мировой славе лежит через связи и дружбу с “мировой антрепризой”, в руках которой ключи и к успеху, и к прессе, и к деньгам? Как бы то ни было, Е. Е. не просто стал борцом с антисемитизмом и “защитником угнетённых еврейских масс”, но каким-то чудом перевоплотился во время своеобразного религиозного обряда в “русского Давида”, бросившего вызов всемирному многоликому антисемиту-Голиафу:

*Страх — это хамства основа.  
Охотнорядские хари,  
вы — это помесь Ноздрёва  
и человека в футляре.*

*Что разбираться в мотивах  
моторизованной плётки?  
Чуешь, наивный Манилов,  
хватку Ноздрёва на глотке?*

Даже политическое стихотвореньё “Танки идут по Праге”, осуждающее наше вторжение в Чехословакию (август 1968), он попытался превратить в своеобразный манифест борьбы с антисемитами, организовавшими это вторжение.

Но вы можете себе представить, дорогой читатель, что в советском танке, вошедшем в Прагу, сидит “помесь” — гибрид гоголевского Ноздрёва и чеховского Беликова, двух странных, смешных, курьёзных персонажей, предков шукшинских “чудиков”? Безвредных, беззлобных. Один — хвастун, другой — молчун. Ни Гоголь, ни Чехов не испытывают к ним ненависти, ненависть к ним испытывает Евтушенко. Больное воображение? Психическое расстройство? Страх? Почему? Да “ни почему”! Потому что ему надо заклеить ввод советских танков в Чехословакию. “Что разбираться в мотивах?” — кричит он, забывая, конечно, что чехи дважды топтали русскую землю — во время чехословацкого мятежа 1918 года и во время гитлеровского нашествия, когда “коричневые швейки” садились в “Тигры” и “Пантеры”, сделанные на чехословацких заводах и в составе войск III-го рейха утюжили землю нашей Родины. Недаром после войны их в качестве военнопленных в наших лагерях насчитывалось более 60-ти тысяч! Так что счёт у нас к ним и “мотивы” в 1968 году были более чем весомые, и в них надо было “разбираться”.

*“Чуешь, наивный Манилов, хватку Ноздрёва на глотке?”*

Представьте себе “наивного” Манилова-Швейка или Манилова-Кафку, который схвачен за глотку антисемитской рукой русского шовиниста Ноздрёва! Душит их этот курчавый, пьяный, хвастливый дворянин-“охотнорядец”. А Гоголь смотрит на этот евтушенковский цирк и чуть с ума не сходит...

Но размах стихотворения о танках, идущих по Праге, таков, что, проехавши по Гоголю и по Чехову, эти бронированные чудовища не останавливаются:

*Боже мой, как это гнусно!  
Боже — какое паденье!  
Танки по Ян Гусу,  
Пушкину и Петефи.*

Эти строчки звучат не просто “гнусно”, а “гангнусно”, простите за игру слов, потому что Будапештское восстание 1956 года, тоже “подавленное” советскими танками, разгоралось не только под антисоветскими, но и под

антисемитскими лозунгами. Так что Евгению Александровичу нужно было бы приветствовать подавление нашими танками в 1956 году венгерских фашистов и антисемитов, но — запутался, историю плохо учил, из школы выгоняли, аттестата за окончание 10-го класса не выдали... Получил “волчий паспорт”... Однако и насчёт Яна Гуса с Пушкиным он не прав, и я не отдам Пушкина нашему, как он сам себя называл, “пушкинианцу”. Он уверен, что танки наши идут не только по “Праге”, но и по “Пушкину”. Значит, Пушкин должен осудить танковый бросок на Прагу и подавление чешской свободы?

Ах, если бы Евтушенко был жив, я бы ему напомнил отрывок из пушкинской “Бородинской годовщины”, в которой Александр Сергеевич бросает в лицо западным витиям, предающим в своих парламентах анафеме Россию за подавление польского восстания 1831 года:

*Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!  
Но знайте, прошенные гости!  
Уж Польша вас не поведёт:  
Через её шагнёт кости!..*

Вспоминая, как сотысячная польская армия Понятовского, будучи частью наполеоновской армады, вошла в Москву и участвовала в мародёрстве и сожжении нашей столицы, Пушкин подчёркивает русское великодушие: “врагов мы в прахе не топтали”, “мы не сожжём Варшавы их”, и поляки, по его словам, “не услышат песнь обиды // от лиры русского певца”, а это был его ответ Мицкевичу, всю жизнь “обижавшемуся” на Россию.

А в 1968 году в чешскую Прагу вошли советские танки. Но писать, что они вошли туда гусеницами “по Пушкину”, может только фантазёр, не знающий Пушкина, ибо Пушкин был и сын Руси, и патриот России, и певец Российской империи, приветствовавший появление её войск и под украинской Полтавой, и в армянском Арзруме, и в польской Праге. Надо понимать такие вещи, коль уж ты назвался “пушкинианцем”.

\* \* \*

Однако всё не так просто с мировым антисемитским заговором. На рубеже тысячелетий разрывающийся между “социалистической тиранией” и демократией, между сапогами “лабазников” и танковыми гусеницами “тридцатьчетвёрок”, между Байкалом и Бродвеем Е. Е. очутился в пустоте и, чтобы не пропасть, опять схватился за спасительную антисемитскую палочку-выручалочку:

*И вдруг я оказался в прошлом  
со всей эпохой своей.  
Я молодым шакалам брошен,  
как черносотенцам еврей.*

Но оглянулся вокруг себя Евгений Александрович и понял, что “лабазники” и “охотнорядцы” — это были “цветочки”, давным-давно увядшие, а тут вокруг него сплелись нити всемирного заговора антисемитов “всея земли”:

*Бьют фашисты, спекулянты  
всех живых и молодых,  
каблучищами таланты  
норовя пырнуть под дых.*

*Бьют по старому надлому  
мясники и булочники. (?! — Ст. К.)  
Бьют не только по былому —  
бьют по будущему.*

*Сотня чёрная всемирна.  
Ей, с нейтронным топором,*



*как погром антисемитский,  
снится атомный погром.*

Неужто “лабазники” и “охотнорядцы”, “мясники и булочники” стали явлением мирового масштаба? Кто стоит во главе всемирного заговора и “атомного погрома”? Американские “неоконы”? Северно-корейский диктатор? Вожди ИГИЛа? Путин с Трампом, протянувшие руки к атомным чемоданчикам? Или всё это приснилось Е. Е. в тихом Переделкино, и надо было не хвататься за перо и бумагу, а вызывать “скорую помощь” с командой психиатров? Но поэт находил себе утешение в своих же собственных словах:

*Ничего, что столько маюсь,  
С чёрной сотней в борьбе  
не сломался... Не сломаюсь  
от надлома на ребре.*

Надлом на ребре у него случился в Хельсинки, где он подрался с местными то ли фашистами, то ли антисемитами...

Стихи о “всемирной чёрной сотне” — это отрывок из громадной мало кем прочитанной поэмы Е. Е. “Фуку”, в которой присутствуют Сальвадор Альенде, Пиночет, Че Гевара, Фидель Кастро, генералиссимус Франко, Адольф Гитлер, Лаврентий Берия. Есть там, конечно, и Пабло Неруда с Уитменом, и знаменитые художники Южной Америки Сальвадор Дали и Альфаро Сикейрос, антисемит, в своё время покушавшийся на великого еврейского революционера Троцкого. Это не смущает Евтушенко, который хочет разузнать у Сикейроса, остался ли у Маяковского после его поездки в Америку сын. Художник успокаивает поэта: “Конечно, остался, погляди на себя в зеркало”.

Иногда вместо антисемитов у него в стихах, выполняя ту же функцию наивысшего зла, появляется Сталин, и это так же доводит его до болезненного отчаяния:

*И я пребываю в смертельной тоске,  
когда над зеркальцем в грузовике  
колымский шофёр девятнадцати лет  
повесил убийцы усатый портрет...*

Однако это не мешало ему писать проклятия Сталину в сталинских высотках — сначала в своей квартире на Котельнической набережной, а потом в другой высотке, где гостиница “Украина”. Жил в сталинской ауре — не брезговал.

Но между прочим, никакой этой сверхчеловеческой борьбы с антисталинизмом могло бы не быть. Но тогда бы не был Евтушенко таким, каким мы знали его.

Из воспоминаний В. В. Кожина: “Много лет спустя после 1953 года я оказался в кафе Центрального дома литераторов за одним столом с давним близким приятелем Евтушенко — Евгением Винокуровым, <...> он выпил лишнего, к тому же был тогда, вероятно, за что-то был зол на давнего приятеля и неожиданно выразил сожаление, что те самые стихи о врачах-отравителях (евтушенковские. — Ст. К.) не решились в начале 1953 года опубликовать:

— Пожил бы Сталин ещё немного, — глядишь, стихи о врачах напечатала бы, и тогда никакого Евтушенко не было бы! — не без едкости объявил Винокуров. И был, вероятно, прав...”

\* \* \*

Если бы Евтушенко сейчас был жив, то я сказал бы ему:

— Женя! Ты в своём творчестве докопался до настоящей золотой жилы, цену которой сам не знаешь. Только не останавливайся, продолжай её разрабатывать. Она, эта жила, неисчерпаема. Но будь осторожен. Вот ты пишешь

о себе, что ты не только “пушкинианец” и “некрасовец”, но и “я Есенин и Маяковский. // Я с кровинкою смеляковской”, а я недоумеваю, как ты сумел в себе объединить Есенина и Маяковского? Маяковский – интернационалист и честный юдофил, породнившийся с семейством Бриков. В стихотворении “Жид”, написанном в 1928 году, он доказывает это каждой строчкой: “Чёрт вас возьми, черносотенная слизь”, “Сегодня шкафом на сердце лежит тяжёлое слово – “жид”, “Помните вы, хулиган и погромщик, помните, бежавшие в парижские кабаре, – пишет он об эмигрантах белогвардейцах, – вас, если надо, покроет погромче // стальной оратор, дремлющий в кобуре”. А вот строчка из этого же стихотворения, имеющая прямое отношение к суду над поэтами Есениным, Клычковым, Орешиним и Ганиным: “Поэт в пивной кого-то // “жидом” честит под бутылочный звон”... Всех четверых судил товарищеский суд, который, слава Богу, взял их на поруки, чтобы они не попали в ЧК.

Но, Евгений Александрович, неужели ты не знаешь есенинские строчки из поэмы “Страна негодяев”, в которой один из персонажей говорит в лицо человеку по фамилии Чекистов: “С каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты настоящий жид <...> фамилия твоя Лейбман”, – а последний отвечает: “Ха-ха! Ты обозвал меня жидом! Нет, Замарашкин! Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей”.

Как же, Евгений Александрович, у тебя получается быть одновременно и Маяковским, и Есениным?

В знаменитом стихотворении “Бабий Яр” ты вообще являешь чудеса перевоплощения: обращаясь к “интернациональному” “русскому народу”, возмущаешься, что “антисемиты пышно нарекли себя “Союзом русского народа”. Но всем историкам известно, кем были отцы-основатели этого “Союза”. Известный знаток истории России XX века И. Аврех в книге “П. А. Столыпин и судьбы реформ в России” (М., 1991. – С. 237) пишет об этом так: “Комментарии, как говорится излишни, если вспомнить, что Гурлянд был евреем, как и знаменитый Грингмут – первый основатель “Союза русского народа”.

Но ты, Женя, так же, как сражался “с призраками Сталина при помощи призрака Ленина”, пытаешься сражаться с призраками “охотнорядцев”, “лавочников”, “черносотенцев”, “держиморд” и прочими ушедшими в историю уже несуществующими призраками человечества. Да, слово “лабазник” или “охотнорядец” в наше время, пожалуй, не поймёт никто из молодых людей, наших с тобой внуков. Так для кого же ты пишешь? Я ещё могу понять тебя, когда ты в “Бабьем Яре” говоришь от имени Дрейфуса или юноши из Белостока, или даже перевоплощаешься в “Анну Франк”, но когда ты вещаешь миру о своей борьбе с “охотнорядцами” от имени Спасителя:

*А вот я, на кресте распятый, гибну,  
И до сих пор на мне следы гвоздей.*

Я кричу тебе: “Имей совесть! Окстись! Не то иные твои читатели могут вспомнить, что распять Христа потребовала толпа не антисемитов, а верующих в Иегову ортодоксальных евреев, кричавших в лицо гуманисту Пилату: “Распни его!” – о чём свидетельствует подробно Евангелие от Матфея:

“Пилат, видя, что никто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: “Невиновен я в крови Праведника сего. Смотрите вы”, и, отвечая, весь народ сказал: “Кровь его на нас и на детях наших”.

Так что кого судить за гибель на кресте, за следы гвоздей на ладонях? Правоверных евреев?

“Бабий Яр” заканчивается буквально на запредельной по своему накалу ноте:

*Ничто во мне про это не забудет!  
“Интернационал” пусть прогремит,  
когда навеки похоронен будет  
последний на земле антисемит.*

*Еврейской крови нет в крови моей.  
Но ненавистен злобой заскорузлой  
я всем антисемитам, как еврей,  
и потому — я настоящий русский!*

Но как может быть похоронен на земле “последний антисемит”, если конца-краю не видно вражде израильтян и арабов-палестинцев? Если сирийские арабы никогда не согласятся с оккупацией Израилем Голанских высот? Если нигде на земном шаре уже не исполняют “Интернационал”?

Но вершиной евтушенковского интернационализма и познания истории России можно считать оду “Вандея”, написанную им в 1988 году...

Вандея для него — это “реакция”. “И у реакции родной // есть дух вандейского навоза”, — пишет он, забыв, что назвал себя “есенинцем” и что его любимый Есенин в “Анне Снегиной” выдал убийственную отповедь эстетам и снобам: “Не нравится? Да, вы правы, привычка к Лориган и розам... Но этот хлеб, что жрёте вы, ведь мы его того-с... навозом!”

Но Евтушенке мало заклеить “отечественный навоз”:

*Отечественное болото,  
Самодовольнейшая грязь,  
Всех мыслящих, как санкюлотов,  
проглатывает, пузырясь.*

А кто такие “мыслящие санкюлоты” — борцы с Вандеей, с её навозом, с её болотами, с её “грязью”? Здесь наш санкюлот закусил удила: “Провинции французской имя // к родимым рылам приросло”, а “родные рыла” — это Гришка Мелехов? Аксинья? Пантелей Покофьевич? Мишка Кошевой?.. И, конечно же, Шолохов, о котором, видимо, сказано: “Литературная Вандея, // пером не очень-то владея, // зато владея топором, // всегда готова на погром”. Может быть, “Вандея” и была готова на погром, но настоящий погром, называемый “рассказчиванием”, ей устроили в 1919–1920-х годах “санкюлоты” Л. Троцкий, Я. Свердлов, И. Якир и прочие якобинцы.

Ну, конечно, это о “вандейце” из станицы Вёшенской ближайший друг-соперник Вознесенский разразился эпиграммой, опубликованной, как мне помнится, в “Метрополе”:

*Погромщик и сатрап,  
Стыдитесь, дорогой,  
Один роман содрал,  
Не смог содрать другой.*

Русская литературная Вандея, по словам Евтушенки, “за экологию природы // встаёт, витийствуя, она, // но экология свободы // ей не понятна и страшна”...

Конечно, борьба русской “Вандеи” против поворота рек, за спасение Байкала и кедровых лесов Сибири, усилия Распутина, Залыгина, Чивилихина и прочих “вандейцев” ничто по сравнению с “переделкинскими ценностями”:

*Литературная Вандея,  
в речах о Родине радея,  
с ухмылкой цедит, что не жаль  
ей пастернаковский рояль.*

“Отечественное болото”, “самодовольнейшая грязь”, реакция, идущая “свиньёй”, продолжающая традиции “охотнорядцев”, “лабазников”, “погромщиков” —

*Вот где для родины опасность,  
когда заправский костолом  
заходит со спины на гласность  
со шкворнем или с кистенём...*

Вот так идеологически обслуживал Е. Е. горбачёвскую эпоху “гласности”. А что такое “шкворень” и “кистень”, наверное, уже не знал и сам автор. Однако вспомним, что такое Вандея настоящая, а не выдуманная большим воображением Е. Е.

“Вандея во Франции была провинцией, восставшей против якобинского, заливавшего Париж и остальную страну кровью террора; за свои традиционные народные ценности, за сельский быт, за католическую веру, за свою землю. Крестьяне, ремесленники, местное духовенство восстали на борьбу с Конвентом Робеспьера, Марата и Дантона, и эта война с переменным успехом длилась несколько лет. Летом 1794 года армия Конвента вторглась в Вандею, где были расстреляны, утоплены в реках, отправлены на гильотину десятки тысяч человек. Каратели сжигали не просто дома, но целые деревни. Крупнейший город Вандеи Ла-Рош в результате массового террора был опустошён, в нём почти не осталось живых людей.

Прямой копией вандейских событий в эпоху нашей революции и гражданской войны была судьба восставших на защиту церковного имущества жителей Иваново и Шуи, крестьянский мятеж на Тамбовщине и, конечно же, самой грандиозной русской Вандеей стало восстание Донского казачества в 1919 году.

Из книги И. Шафаревича “Трёхтысячелетняя загадка” (СПб: Библиополис, 2002):

“Вся эпоха военного коммунизма состояла из сплошной череды крестьянских восстаний, усмиряемых центральной властью. Обычно это трактуется как “борьба за хлеб”, очень жестокий способ осуществления продрозвёрстки. Но изучение конкретных ситуаций не подтверждает такого представления. В громадном числе случаев власти просто шли войной на крестьян. Речь шла о какой-то несовместимости. Не об экономической операции, — скорее, это было похоже на религиозные войны, которые раньше пережила Западная Европа.

В январе 1919 г. Оргбюро ЦК РКП(б) (наряду с Политбюро — один из руководящих органов партии), возглавлял которое Свердлов, принимает “Циркулярное письмо об отношении казакам”, которое начинается так:

“1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью”.

Эти меры и реализовались: сохранился ряд сообщений о массовых расстрелах в станицах. В феврале была издана “Инструкция реввоенсовета Южфронта к проведению директивы ЦК РКП(б) о борьбе с контрреволюцией на Дону”, содержавшая указания:

“...обнаруживать и немедленно расстреливать:

а) всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам или по назначению...

е) всех без исключения богатых казаков”.

Подписи — Реввоенсовет Южного фронта: И. Ходоровский, В. Гитис, А. Колегаев. Управляющий делами Реввоенсовета Южного фронта — В. Плятт”.

В обращении (за теми же подписями) говорится:

“Необходимы концентрационные лагеря с полным изъятием казачьего элемента из пределов Донской области”.

Все эти меры энергично осуществлялись, о чём есть много свидетельств. Происходили массовые расстрелы. В итоге “расказачивания” численность донских казаков сократилась с 4,5 млн до 2 млн. Результатом (в марте 1919 г.) было Верхне-Донское восстание.

В борьбе с ним Реввоенсовет 8-й армии указывал:

“...уничтожены должны быть все, кто имеет какое-то отношение к восстанию и к противосоветской агитации, не останавливаясь перед процентным уничтожением населения станиц. (Даже без ограничений пола и возраста! — И. Ш.)

Подписи: Реввоенсовет 8-й армии, И. Якир, Я. Вестник”.

В стихотворной книге, вышедшей в 1988 году в Петрозаводске, Е. Евтушенко требовал поставить в России памятник невинно убиенному в эпоху

“Большого террора” санкюлоту Ионе Якиру: “Якир с пьедестала протянет // гранитную руку стране”.

Эльдар Рязанов, задумавший снять фильм о Сирано де Бержераке (его роль должен был играть Е. Е.), вспоминал: “Резкие, острые, смелые стихи, такие, как “Качка”, “Наследники Сталина”, “Бабий Яр” и другие, порой сменялись конъюнктурными”. . . Как говорится, и смех и грех – уж более “конъюнктурных” стихов, нежели “Бабий Яр”, “Вандея”, “Русские коалы”, “Наследники Сталина”, “Танки идут по Праге”, у Евтушенко просто не сыскать. Самые популярные его стихи одновременно являются и самыми конъюнктурными.

И конъюнктура таких стихов удивительным образом сочеталась у него с декларативной искренностью и своеобразной честностью, которая, впрочем, могла тут же в следующей строчке превратиться в пустоту или, хуже того, в ложь, как это произошло в стихотворении “Наследники Сталина”:

*Мы сеяли честно.  
Мы честно варили металл,  
и честно шагали мы,  
строясь в солдатские цепи.  
А он нас боялся...*

Сталин, за плечами которого было пять ссылок – от Сольвычегодска до Туруханска, – несколько побегов, по чьей судьбе прокатилась гражданская война; который и не думал покидать Москву, когда немецкие полководцы разглядывали в бинокли Кремль, Сталин, который 7 ноября 1941 года произнёс с трибуны Мавзолея речь, навсегда до последнего слова вошедшую в историю страны и войны. Сталин сам, своим умом и волей внедривший систему лесополос, спасших колхозные поля от смертельных засух (“мы сеяли честно”), по воле которого строились магнитогорские, череповецкие и кемеровские домны (“мы честно варили металл”); Сталин, чей “атомный проект” вот уже восемь десятилетий спасает нашу страну от порабощения; Сталин, который не боялся даже после убийства Кирова никаких покушений, о чём свидетельствуют воспоминания его личного переводчика Валентина Бережкова: “Сейчас утверждают, что всех посетителей, даже Молотова, перед кабинетом вождя обыскивали. Ничего подобного не было. <...> За все почти четыре года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и вообще не подвергали каким-либо специальным проверкам. Между тем, в наиболее тревожные последние месяцы 1941 года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня, например, был маленький “вальтер”, который легко можно было спрятать в кармане. Когда около шести утра заканчивалась работа, я, взяв его из сейфа, отправлялся в здание Наркоминдела на Кузнецком. В осенние и зимние месяцы улицы были погружены во мрак. Часто попадался комендантский патруль, проверял документы. Но ведь мог встретиться и немецкий диверсант. На сей случай и полагалось оружие.

По приходе в Кремль на работу следовало спрятать пистолет в сейф. Но никто не проверял, сделал ли я это и не взял ли оружие, отправляясь к Сталину”.

Не лишне заметить, что родители Бережкова, эмигрировавшие в годы революции на Запад, в это время жили в Швейцарии, и Сталин и НКВД знали об этом.

*Наследников Сталина,  
видно, сегодня не зря  
хватают инфаркты.  
Им, бывшим когда-то опорами,  
не нравится время,  
в котором пусты лагеря.  
А залы, где слушают люди стихи,  
переполнены.*

“Наследники Сталина” были напечатаны в “Правде” по распоряжению Хрущёва, который якобы сказал в кругу высшей партийной знати: “Если Солженицын

и Евтушенко – антисоветчина, то я – антисоветчик”. Хрущёв думал, что он пошутил, но на самом деле он невольно сказал чистую правду обо всех троих.

Есть у Евтушенко несколько “знаковых” стихотворений, в которых он постарался изложить своё мировоззрение, свои идеологические взгляды. Это “Бабий Яр”, “Наследники Сталина”, “Танки идут по Праге” и, конечно же, “Русские коалы”, говоря о которых надо вспомнить случай из жизни Е. Е., о нём пишет известный бард и стихотворец Дмитрий Сухарев:

*“Мы прошли в ресторан и сели. Он наклонился и шепнул: “О литературе давай не говорить, сзади сидит некто Алексеев – автор романа “Солдаты” – дикая сволочь. Всё-таки это несправедливо, – добавил он с грустью, – что у антисемитов получаются дети”.*

Действительно, вокруг Алексеева сидел выводок детей, а напротив восседала пышущая здоровьем жена. Это было процветающее семейство.

Ненависть к антисемитизму в нём вышла наружу в этот день не впервые. Ещё дома он скрежетал зубами по поводу кочетовской травли Слуцкого, по-видимому, это было не просто влияние его литературной среды, а глубокое убеждение”.

В этих же воспоминаниях Сухарева есть свидетельство о том, что Евтушенко назвал Михаила Алексеева не только “дикой сволочью”, но и “животным”, и это сказано о талантливом русском прозаике, чудом выжившем в детстве во время страшного голода 1923 года в Поволжье, написавшем об этой народной трагедии роман “Драчуны” – о фронтовике, участнике обороны Сталинграда, авторе романов “Ивушка неплакучая” и “Хлеб – имя существительное”, главном редакторе журнала “Москва”, по чьей воле в 1965 году был наконец-то опубликован роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” (а впоследствии и роман самого Евтушенко “Ягодные места”). “Несправедливо, что у антисемитов получаются дети”... До чего договорился! Как тут не вспомнить планы некоторых западных “антропологов-расистов” о том, что после победы над гитлеровской Германией всех немецких женщин необходимо стерилизовать, как каких-нибудь “недочеловеков” или бессловесных “коал”.

\* \* \*

*О наши русские коалы!  
На всех идеях и делах,  
эпохе нашей подпевалы,  
вы дремлете, как на стволах.*

*Мой современник, содременник,  
Глаза спросонья лишь на треть  
ты протираешь, как мошеник,  
боишься чаще протереть.*

*Нет, дело тут не в катаракте.  
Граждански слеп не ты один.  
Виной твой заспанный характер,  
Мой дорогой согражданин... (и т. д.)*

Цитировать это бесконечное рифмованное поношение “коальского народа” бессмысленно; тем более потому, что автор, видимо, спохватившись, вскоре поменял название: вместо “русские коалы” оно стало называться “отечественными коалами”. Но слово, как говорит русская пословица (именно “русская”, а не “отечественная”), не воробей, вылетит – не поймаешь... В чём же обвинял всемирно знаменитый поэт своих недостойных современников? В том, что они во время течения русской истории всё “проспали”, всё “прошляпили”, всё “профукали”. “Ты от “Авроры не проснулся, // ты в допетровском столбняке”... Но кто же тогда перемолол в течение трёх столетий татаро-монгольскую орду? Кто раздвинул границы России до всех возможных пределов – до берегов Балтики, до Черноморских бухт, до Курильской гряды, до Карпатских отрогов? Кому в течение тысячелетия приходилось защищать и утверждать “от Москвы до самых до окраин” православную веру, на которой

возросли все нравственные начала нашей истории? Народу, который только и занимался якобы тем, что “*дрых в допетровском столбняке*”? Автор стихотворенья “Русские коалы” много раз называл себя “пушкинианцем”. Но в таком случае хотя бы вспомнил заветные слова из пушкинского письма Чаадаеву, в котором Пушкин пишет о том, как развивалась в средние века страна, населённая “коалами”: **“У нас было своё, особое предназначение. Это Россия. Это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена <...> Так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех”**.

А чем нам отплатила за это мученичество “просвещённая Европа”? Сначала – попытками поработить царство *дрыгнувших коал* с помощью Тевтонского ордена, потом – нашествием польско-венгерских войск Стефана Батория, затем – оккупацией государства московитов объединёнными силами поляков, шведов и литовцев в Смутное время. При Петре “коалам” пришлось отражать агрессию Карла XII, отгонять крымско-татарские и турецкие банды от своих южных границ. В XIX веке – перемалывать орду Наполеона, побеждать нашествие французов, итальянцев и турок в Крымской войне, а в XX веке “коалы” каким-то чудом справились с Антантой 1918–1922 года... О там, как “русские коалы” расправились с коричневой ордой просвещённой Европы, говорить много не будем, чтобы не захлебнуться рифмованной болтовнёй: “*Ты прозевал шифровку Зорге*”, “*Ты просопел во сне Чернобыль*”, “*марксизм был для тебя, как сонник*” и т. д. Но этого мало. Русские животные (коалы) виноваты в том, что они 22 июня 1941 года проспали войну (“*войну проспав навеселе*”). Они виноваты в том, что не читали роман “Доктор Живаго” и позволили писателям организовать травлю Пастернака (“*А разве травлю Пастернака ты не проспал?*”). Они виноваты в том, проспали полёт германского провокатора Руста, приземлившегося на Красной площади... Могу представить, какой истошный крик исторгнул бы из себя поэт, если бы “коалы” сбили этого “нахального аэрокурёнка”. Одним словом, все грехи, преступления и предательства власти наш правдоискатель возложил на “русский зоосад” – именно так он обозвал русское простонародье в поэме “Тринадцать”.

Е. Евтушенко, осуждающий, по словам его биографа И. Фаликова, “*всякое насилие*”, во время избирательной кампании 1989 года писал: “*Пора принимать самые строгие нравственные и судебные меры к таким, например, оскорбительным выражениям и словечкам, как “русская свинья”, “хохляндия”, “все грузины торгаши”, “жид”, “армяшка”, “чучмек”!*” (“Советская культура, 1989 года, 11 марта”). Но это было лишь предвыборным лицемерием, потому что, когда ему было нужно, он русофобствовал с удовольствием, о чём свидетельствуют его стихи “О русских коалах” – ленивых, сонных, обожающих неволю сталинской эпохи. Если, по логике Евтушенко, надо судить за “русских свиней”, то почему бы не судить за “русских коал”? Ведь в обоих случаях русские приравниваются к животным. Думаю, едва ли Евтушенко решился бы написать “грузинские” или, допустим, “латышские” коалы. Русские коалы виноваты в том, что Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары о “Малой земле” (“*ты дал медальку не задаром, // ведя и свой медалесбор // малоземельным мемуарам // на всеземельный наш позор*”). Но откуда было знать неграмотным “коалам”, что мемуары о Малой земле были написаны двумя советскими писателями еврейского происхождения? Однако, думаю, что нашему автору наверняка это было известно... “*Мартены, блюминги, кессоны – вот племя идолов твоих*”, – бросает в лицо коалам наш поклонник Маяковского, написавший в своё молодое время поэмы о строительстве “КамАЗа” и о “Братской ГЭС”, которые были воздвигнуты мозолистыми руками “русских коал”, подвиги которых Евтушенко воспевал во всю глотку.

В 1967 году он в письме министру культуры П. Н. Демичеву настойчиво потребовал, чтобы министр как можно скорее распорядился о сдаче в прокат в театре на Таганке спектакля по его поэме “Братская ГЭС”. В этом обширном письме Евтушенко писал, что в спектакль “*вошли самые партийные, самые героические куски из поэмы: “Коммунары не будут рабами”, “Идут ходоки к Ленину”, “Азбука революции”, “Большевик” и другие. Композитором Колмановским создана для спектакля песня о партбилетах, которая является как бы лирическим гимном партии*”:

*Продолжается подвиг великий,  
и повсюду Магнитки гудут,  
словно Ленин миллионноликый,  
по земле коммунисты идут.*

*Партбилеты ведут ледоколы,  
опускаются с песней в забой.  
У Мадрида, у Халхингола  
Прикрывают коммуну собой.*

*И стараются пули усердно,  
но другого им выхода нет:  
Чтобы пуля достала до сердца,  
надо прежде пробить партбилет.*

*Только тот партбилета достоин,  
для кого до конца его лет  
партбилет — это сердце второе,  
ну, а сердце — второй партбилет.*

Вот такие “гимны партии” сочинял в брежневские времена наш летописец эпохи.

Однако, когда наступило горбачёвское время “перестройки”, “гимн партбилету” и глава из “Братской ГЭС” о Ленине были тщательно (видимо, как воспевающие коал) изъяты автором из поэмы, о чём поведал мне с горечью один из персонажей поэмы Алексей Марчук... “Марчук играет на гитаре, а море Братское поёт”, — как писал о нём в поэме молодой Евгений Александрович...

“Я с кровиночкой смеляковской”, — гордо заявлял он о себе любимом. Но, видимо, забыл о том, с какой строгой любовью писал о строителях социализма сам Ярослав Смеляков в стихотворениях “Моё поколение”, “Кладбище паровозов”, “Если я заболею — к врачам обращаться не стану”.

*Я строил окопы и доты,  
железо и камень тесал,  
и сам я от этой работы  
железным и каменным стал...*

А Николай Рубцов — с каким неподвластным бегу времени чувством писал он о своих земляках, о своих братьях и сёстрах из русского простонародья:

*Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,  
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,  
И требовал выпить за доблестный труд и за честность,  
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил...*

Они все создавали летопись своей эпохи, помня, в отличие от автора “Братской ГЭС”, что из песни слова не выкинешь...

(Продолжение следует)